ОЛЖЕС ТАТАРИН

серия романов «КСАНТИЯ»



КНИГА ВТОРАЯ

ОДУШЕВЛЁННОЕ ОРУЖИЕ

18+

мистический детектив · 18+

Олжес Татарин

Одушевлённое оружие

«Автор»
2026

Татарин О.

Одушевлённое оружие / О. Татарин — «Автор», 2026

Внизу, где времени нет, падший писец Изекириль стоит на весах — и пустота на второй чаше весит больше, чем он сам. Закрытый счёт весит больше открытого. Чтобы сойти с чаши, ему предлагают сделку: вернуться в тело под биркой «неопознанный», найти человека в сером, хранящего медальон, и принести его тому, кто тысячами мух пересчитывает пальцы.Медальон — ключ к списку семидесяти двух. Писчий свиток, который пишет себя сам, вбирает имена всех, кто однажды мысленно выразил готовность продать душу. Хаос кончается — начинается кадровая работа. Рой выстраивает из города контору: без подселённых, дёшево, по описи.

© Татарин О., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Table of Contents 5
ПРОЛОГ. ВО МРАКЕ 7
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. СНЫ 12
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. МУХИ 16
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. СЕМЬ СТРОК 19
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. НОЧЬ ПЕРВОЙ СВЕЧИ 22
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ 26
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ТРИ СТРОКИ 29
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. МОРГ 31
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. САМОПИСЕЦ 33
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ДИСПЕТЧЕР 38
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Олжес Татарин
Одушевлённое оружие

Table of Contents

ПРОЛОГ. ВО МРАКЕ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. СНЫ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. МУХИ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. СЕМЬ СТРОК
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. НОЧЬ ПЕРВОЙ СВЕЧИ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ТРИ СТРОКИ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. МОРГ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. САМОПИСЕЦ
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ДИСПЕТЧЕР
ГЛАВА СОРОКОВАЯ. ЮРИСТ
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ. СЕДЬМОЙ
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ. ПРИЁМ
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ. ЦЕНА ЧТЕНИЯ
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЁРТАЯ. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ. ВЫВЕРКА
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ. СЕМЬ МИНУТ
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ. ПЕРЕСЧЁТ
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ. ПРИХОД
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ. РУКА
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ. ПЛАТЕЖ
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. СДАЧА
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ПОКРЫТИЕ
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. КРАЙ
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ. СМЕНА
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. ГРАНИЦА
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. УДОБСТВА
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. СКУПКА
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. СПИСАНИЕ

●

ПРОЛОГ. ВО МРАКЕ

●

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. СНЫ

●

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. МУХИ

●

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. СЕМЬ СТРОК

●

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. НОЧЬ ПЕРВОЙ СВЕЧИ

●

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ

●

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ТРИ СТРОКИ
●
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. МОРГ
●
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. САМОПИСЕЦ
●
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ДИСПЕТЧЕР
●
ГЛАВА СОРОКОВАЯ. ЮРИСТ
●
ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ. СЕДЬМОЙ
●
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ. ПРИЁМ
●
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ. ЦЕНА ЧТЕНИЯ
●
ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЁРТАЯ. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
●
ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ. ВЫВЕРКА
●
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ. СЕМЬ МИНУТ
●
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ. ПЕРЕСЧЁТ
●
ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ. ПРИХОД
●
ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ. РУКА
●
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ. ПЛАТЕЖ
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ. СДАЧА
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ. ПОКРЫТИЕ
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ. КРАЙ
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ. СМЕНА
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ. ГРАНИЦА
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. УДОБСТВА
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ. СКУПКА
●
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ. СПИСАНИЕ

ПРОЛОГ. ВО МРАКЕ

Времени здесь нет. Время — это учёт, а учёт остался наверху, у людей, которые зовут его датами и полагают, что владеют им. Здесь есть только звук — скрип писца. Он идёт отовсюду и ниоткуда, от стеллажей, уходящих в такую черноту, где чернота перестаёт быть цветом и становится стеной. Скрип не останавливается никогда.

И раз в несколько минут — сбой.

Перо цепляло волокно бумаги: короткий, шершавый зацеп, длиной в полвдоха, — и снова ровный скрип. В абсолютной тишине и темноте сбой был слышнее всего остального. Человеческий слух не выдерживает не громкости — он не выдерживает нарушенного ритма. Крик страшен в первый миг; сбой в ровном скрипе страшен всегда, потому что не кончается. Никто из стоявших здесь не знал, почему от этого зацепа холодеет затылок. Рой знал. Его мухи не сбивались. Ни одна, ни за один срок. Идеальный учёт не даёт сбоев — сбой принадлежит несовершенным инструментам. И это место было не абстрактным адом. Это был конкретный архив, и даже инструменты в нём были неидеальны.

Никто из стоявших здесь не догадывался, что скрипит перо, которое пишет того, кто слушает.

Изекириль стоял на чаше весов.

Весы были старые, на глиняном основании, — такие, какими взвешивали зерно до того, как придумали числа. На второй чаше лежала пустота, и пустота весила больше. Он понял это не сразу: сначала решил, что весы сломаны, — за всю службу, одиннадцать лет живого учёта и неизвестно сколько мёртвого, он не встречал чаши, которая была бы тяжелее содержимого. Потом понял. Закрытый счёт весит больше открытого: у открытого есть что списать, у закрытого — только удержанное.

Пустота показывала свой вес и не только стрелкой. Свет — тусклый, какой бывает там, где нечем гореть, — обрывался на краю глиняного основания второй чаши, как чернила на конце строки. Тень Изекириля ложилась на пол, на стеллажи, на его собственную цепь — и не ложилась на вторую чашу. Стеллажи отдавали тени во все стороны, кроме одной. Пустота была тяжелее не потому, что ничего не весит. Она была тяжелее, потому что забирала в свой остаток среду: и свет, и тень, и звук.

Цепь на нём была из остывшего воска. Он узнал сплав — сам лил такой, сам подмешивал охладитель в вощину, когда фитиль должен был гаснуть медленно. Цепь тяготила не весом, а работой: каждое движение стоило тепла, а тепла внизу не производили — его только расходовали.

Он не знал, сколько стоит. Это была первая честная пытка из всех, какие он знал: тот, кто не признаёт часов, сидит в самой сметной комнате мира, — сказал он так наверху, и теперь слова разменивались: тот, кто не признаёт часов, стоит на весах, где часов нет.

Он услышал его раньше, чем увидел.

Гул — тонкий, плотный, как лето над иловыми ямами. Потом мухи. Они сыпались из темноты тысячами — тёмно-медные, с брюшком, отливающим синевой, как сургуч, — и сводились в фигуру сидящего человека. Фигура вышла почти правильной. Только пальцы то и дело рассыпались и собирались заново — не потому, что не держались, а потому, что Рой их пересчитывал.

— Стоишь на своей чаше, — сказал Рой. Фраза пришла волнами: сначала тысячами ртов, каждый в свой срок, потом согласилась в одну. — Умно. Ты всегда восполнял недостачу собой.

Изекириль не ответил. Внизу отвечать — значит признавать вопрос внесённым в опись.

— Тогда я зачитаю, — голос Роя рассыпался и собрался снова. — Смета — двенадцать. Снято чужой рукой — четыре. Девятая догорела своим огнём. Итого списано — пять. Остаток — семь.

Пауза была такой длинной, что скрип писца успел пройти три круга.

— Семи нет в твоей отчётности, писец.

— Остаток — не сокрытие, — Изекириль поднял глаза. — Остаток — это предусмотрительность.

— Несданный остаток — недостача. — Мухи на плечах фигуры не шевелились, и от этой неподвижности было больше, чем от движения. — Недостачу покрывают. Тебе предложат покрыть собой. Откажешься — останешься на весах. Пустота тяжелее; ты уже проверил.

Цепь качнулась сама, без движения, — так вздыхает то, что когда-то было жидким.

— Мне нужно орудие, — сказал Рой. — Одушевлённое лучше неодушевлённого. Так говорил один грек, и он ошибся только наполовину. Слушай условия. Форма видит меня. Камера научилась узнавать мух; любое моё действие теперь ложится в чужую опись строкой, а строку можно прочесть. Мне нужен исполнитель, которого нет ни в одной описи. Ты — ноль. Личность не установлена. Счёт закрыт. Тело лежит в моргу под биркой «неопознанный» — и тело цело: мухи держат его тёплым. Ты вернёшься в него. Найдёшь человека в сером, который хранит медальон. Возьмёшь медальон. Принесёшь мне.

— А если человек в сером не отдаст?

— Тогда это будет не взятие, а вычитание. Ты умеешь.

— Что я получу?

— Реабилитацию. — Рой пересчитал пальцы и сложил их. — Цепь сниму. Каналы верну. Из писцов подниму в держатели — у тебя будет сектор, счёт и право закрывать чужие балансы. Реальная свобода, писец: свобода держать. Это больше, чем ты имел за одиннадцать лет службы наверху.

— И медальон, — Изекириль произнёс это ровно, как читают строку. — Зачем вам медальон? Возведение — церемония чтения. Кулон — ключ, но ключ требуется не читающему.

— Требуется списку, — сказал Рой. — Слушай главную цену.

Он говорил — и мухи в фигуре не шевелились, так что голос выходил из неподвижности, как из-под льда.

— Первый манускрипт — книга возведения. Текст, прочитанный вслух в присутствии медальона, вносит падшую сущность в список семидесяти двух значимых демонов преисподней. Не в свиту — в список. Принцы и герцоги тьмы — не имена, а должности; по весу прочитанного вошедшему отходят от двадцати до тридцати пяти легионов под командой. Хаос, которым я занимался с начала времён, — это ремесло. А это — ранг.

— Второй, — Рой не дал ему вставить слово, — писчий свиток. Он пишет себя сам — без руки, без пера, без часа. Имена вписываются в него сами, в ту минуту, когда человек — хотя бы мысленно — выразил готовность продать душу. Прочтя имя вслух, демон входит в подсознание грешника в час его нравственного падения — в самую точку, где сделка стоит дешевле всего, — и убеждает подписать. Продавшийся — открытый контейнер. Вход не заперт: хозяин сам отдал ключ. Больше не нужно ломать тела, вселять силой, оставлять следы сломанной воли. Хаос кончается, писец. Начинается кадровая работа.

— Вы выстроите из города контору, — сказал Изекириль. — Без подселённых. Свиток сделает это дешевле вас.

— Свиток сделает это дешевле всех, — согласился Рой. — Поэтому я и говорю с тобой, а не делаю сам: форма видит меня. А теперь о том, почему кулон должен принадлежать мне. Спрашивай: ты всё равно собирался.

— Список, — Изекириль поднял глаза. — Он полон?

— Он был полон до тебя и будет полон после, — сказал Рой. — Семьдесят два — не число, а вес: список закрыт, как закрыт счёт с нулевым сальдо. Войти в него можно только через вытеснение. Место вошедшего освобождает выпавший: выпавший теряет легионы в тот же час — а имя его не стирается. Оно опускается вниз, в очередь на посрамление. Поэтому кулон нужен тому, кто читает. И поэтому решает очерёдность.

Он пересчитал пальцы — медленно, как перечисляют аргументы.

— Первое чтение входит выше всех. Кто прочтёт возведение первым, держа кулон, войдёт выше всякого, кто войдёт после, — и очередь замыкается на нём: список больше не поднимет никого выше вошедшего первым. Второй входит под первым. Третий — под вторым. Понимаешь теперь, что такое медальон, писец? Не ключ. Право быть первым — и голосом. Свиток-самописец напишет имена сам; но вслух их прочтёт держатель очереди. Первый — это рот преисподней. Кем бы он ни был.

— А тот, кто войдёт после, — Изекириль не договорил.

— Очередь, — сказал Рой. — Вошедший либо встаёт в неё, либо покушается на неё. Ранг не терпит соседей: за медальон идут и другие, и каждому из них я предпочту быть первым. Поэтому в час моего чтения медальон будет лежать не в твоих руках — передо мной.

— Семеро, — сказал наконец Рой. — Назови имена.

— Я утратил к ним доступ, — ровно сказал Изекириль. — Смерть гасит каналы. Писец умирает вместе с должностью — так устроен устав, вы сами его писали. Осталась память о том, что они есть. Память без адресов.

— Ложь имеет структуру расписки, — прогудел Рой. — В ней есть дата, сумма и подпись. У твоей есть только подпись. — Пауза. — Но имена мне больше не нужны. Свиток возьмёт их сам, когда начнём читать: ты писал их — они напишутся. Я запускаю тебя и так. Одушевлённое орудие лучше неодушевлённого. Даже враньё — орудие, если оно ходит.

Он поднялся — мухи стекли вниз и собрались заново, уже стоящими.

— Запомни одно, писец. Если ты решишь сыграть в две стороны — знай: я изобрёл обе стороны. Я читал тебя одиннадцать лет и знаю, где у тебя сходится, а где ты подтираешь. Иди. И помни: у орудия нет счёта.

Фигура рассыпалась. Мухи уходили гаснуть — один за другим, как угольки, которых задувают пальцами: так, как гаснут свечи. Стеллажи вернули себе темноту.

Одиночество давило на барабанные перепонки сильнее, чем цепь на плечи. В этой комнате, где правил только скрип чужого пера, Изекириль впервые за одиннадцать лет живой службы почувствовал себя не писцом, а инвентарной позицией с утерянным ценником. Чтобы доказать себе, что он ещё существует в физическом мире, что он не стал просто строкой в той ведомости, которую скрипело перо, он решил разорвать тишину.

Он набрал в грудь воздух. Воздух здесь был сухой, стерильный, пахнущий старой пылью и озоном — запахом идеального хранилища. Он не был предназначен для жизни. Изекириль открыл рот и издал крик.

Это был не вопль боли и не зов о помощи. Это был чистый, животный, рваный звук — попытка звуковой волной нащупать границы пространства. Он вложил в него всё: одиннадцать лет живой службы, страх перед весами, ненависть к мухам. Звук должен был удариться о бесконечные стеллажи, уйти в темноту и вернуться долгим, затухающим эхом, как бывает в пещерах, в катакомбах, на складах.

Но эха не было.

Звук его голоса не отразился от полок. Он не ударился о стену черноты. Он просто исчез.

Крик оборвался на губах, словно горло перерезали невидимой нитью, но даже обрывка не осталось в воздухе. Темнота внизу не была пустотой — она была плотной, как вата, как архивная ветошь, как бархат. Она приняла звук в себя, растворила его в своей массе, впитала вибрацию, как промокашка впитывает излишки чернил. Изекириль остался стоять в абсолютной, звенящей тишине, которая наступила сразу после попытки, — и эта тишина была громче любого крика. Это была тишина поглощения.

Он понял главное правило этого места: здесь нельзя докричаться, потому что здесь не к кому. Стеллажи не были стенами — они были зубами. А темнота была желудком. Всё, что не являлось учётом, отправлялось в расход немедленно, без записи в опись.

Цепь холодила плечи. Весы качнулись — и впервые за всё время не в его пользу: пустоте на второй чаше что-то добавили.

Он смотрел туда, где растворился Рой, и думал не о свободе.

Он будет первым — и этим уже навсегда: очередь замыкается на первом, список не поднимет никого выше вошедшего первым. Значит, мне не нужно его опережать. Мне нужно, чтобы он вошёл — и чтобы в час его чтения медальон держала моя рука. Медальон открывается не тому, кто приказывает, — тому, кто держит счёт. Моего счёта нет. Значит, мне нужно завести новый. Первый взнос я уже выбрал.

У орудия нет счёта. Значит, орудие — неучтённое. А неучтённое — единственное, что не потушить.

И ещё одно, о чём он не сказал и чего не спросил. Свиток-самописец вписывает имена готовых продать душу. У демона нет души, чтобы её продать. Но есть должность, счёт и место в очереди. Предательство — тоже сделка. Посмотрим, впишет ли свиток моё имя — и когда он его прочтёт.

Скрип писца не утихал. Теперь Изекириль знал, что тот пишет.

И раз в несколько минут — зацеп. Перо цепляло волокно, и волокно держало: не всё в этой ведомости ложилось гладко. Значит, и здесь оставалось место, где счёт можно догнать и перехитрить. Он не знал ещё, где именно. Он знал только, что неучтённое — единственное, что не потушить.

Приход.

«Тогда Он отверзает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление»
— Иов 33:16

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. СНЫ

Сад начинался сразу за ресницами.

Илья опустил веки — и там уже всё было готово: ряды, грядки, ровные борозды, насыпанные с такой аккуратностью, какой не бывает в земле, потому что земля не умеет быть аккуратной, это люди приходят и учат её. Здесь научили. Каждое семечко лежало в своей ямке — на глубине, одинаковой до миллиметра, и Илья знал это, не измеряя: во сне измерять не нужно, во сне числа просто знаются.

Он стоял на краю грядки и смотрел.

— Видишь, как правильно? — спросил Учитель.

Голос был тёплый. Не как у мамы — мамино тепло бывает вразнобой, то сильное, то усталое. Это было ровное, как тёплый пол: стоит и греет, никуда не спешит. Илья не видел лица — Учитель стоял спиной. Спина была видна вся: серая, глаженная, как школьная форма, когда её гладят по-настоящему, не как у Ильи в сумке.

— Здесь ничего не живёт само, — сказал Учитель. — Здесь всё посажено. Это разные вещи. Первое — сор. Второе — порядок.

— А сор куда?

— Сор не куда. Сор — некуда. Он не держится места, на котором нет для него места.

Илья подумал, что так не бывает, но во сне так не бывает не мешает.

Он пошёл вдоль грядки. Земля была тёплая — так бывает в мае, когда солнце прошло и земля ещё держит. Илья выдохнул — и увидел своё дыхание. Пар был в тёплом воздухе, где пар не бывает, и он не поднимался: он опускался вдоль борозды, к земле, и расплывался по грядке, как полив. Илья не удивился. В этом саду всё было так: тепло не поднималось к небу — оно уходило в почву, туда, где лежали подписи. С края одного ряда сорвался лист — не вниз, а вбок, к подписи, — и лёг на землю ровно, как по линейке. Илья принял и это. Не правилами живут сны, а привычками, и привычки этого сада уже были его привычки.

Растения стояли ровными штрихами, и Илья вдруг понял, что это не растения. Это — подписи. Мелкие, аккуратные, сделанные чужой рукой, на чужом листе, и он смотрит на чужой лист, который ошибочно называют садом.

Ему стало спокойно. Это было самое странное, что он потом не смог рассказать никому, — не страшно было, а спокойно. Как в классе, когда контрольная написана и сидишь и ждёшь звонка, и звонок уже не имеет власти.

— Ты ещё вернёшься сюда, — сказал Учитель без вопроса, как ответ.

Илья проснулся.

Утро было обычное до невыносимости. Кирилл в наушниках орал песню, которую Илья не понимал, — не слов, а смысла, но Кириллу объяснять нельзя, за слово «почему» он допоздна не разговаривал. Мама искала второй ботинок и говорила с ботинком так, как с ним разговаривают, когда он нашёлся, а не когда пропал. Пахло оладьями.

— Пап, — сказал Илья за завтраком, — а что такое устав?

Поладин поднял глаза. Застава на подъём, ремень, чайник почти вскипел — всё как всегда, только в вопросе была одна ложка лишняя тишины.

— Где ты слышал слово?

— Не знаю, — сказал Илья честно, и это была правда, и правда была неприятная: слово во рту было свежее, как будто он только что его съел, а откуда — пусто.

— Устав — это правила, — сказал Поладин. — Которым нужно следовать.

— А если не следовать?

— Тогда тебя нет в списке.

— В каком списке?

— Списке тех, кому можно, — Поладин посмотрел на сына ещё секунду, дольше, чем требуется на такой вопрос, и встал к раковине. — Идём, уроки.

Илья шёл в школу и думал про устав. Про список тех, кому можно. Он не мог вспомнить, что делал это вчера, — а вот что в саду было ровно, помнил весь день, как помнят запах.

Второй сон пришёл в ночь на среду.

Сад стоял на месте — только теперь Илья смотрел на него сверху. Сад был в разрезе: грядки шли полосами, растения стояли штрихами, а внизу, под всеми полосами, тянулась подпись. Илья не мог прочесть её, не потому что темно — потому что читать её нельзя: она читалась сама, когда смотреть не собираешься, и в тот момент, когда начинаешь читать нарочно, буквы прячутся, как прячет головку улитка.

Учитель шёл рядом. Теперь его было видно сбоку — и сбоку его не было видно тоже. Не за что зацепиться глазом, подумал Илья, и от этой мысли стало удобно, как в комнате, где ничего не падает.

Иногда по чертежу проходило движение, как ветер, — но ветер шёл не вдоль грядок, а сквозь землю, сверху вниз, к подписи. Илья принимал это, как принимают погоду: у всякого места своя погода, и эту он уже выучил.

— Смотри, — сказал Учитель и повёл пальцем по чертежу снизу вверх. — Вот здесь пусто.

Пусто было семь раз. Семь ямок, ни одного семечка, и каждая ямка была не чёрной, а ожидшей — такой цвет не бывает у чернил, у чернил нет цвета «ждать».

— Места ждут, — сказал Учитель.

— Чего ждут?

— Не чего. Кого.

Пальцы пошли дальше по чертежу и остановились на верхнем поле. Там был нарисован человек. Человек без лица — не стёртого, а просто пустого, как пусто на стене, где ещё ничего не вешали. А на шее у человека висел медальон.

Илья во сне знал, что медальон тёплый.

Он его не трогал. Он знал это так же, как знал глубину ямок: не измеряя. Тёплый, как тёплый пол. Тёплый, как то, что живое, — хотя медальон был круглый, жёлтый, с узором, который похож на лучи, а лучи похожи на перья, а перья похожи на то, что люди рисуют, когда хотят нарисовать солнце, но боятся нарисовать солнце.

— Это ключ к свету, — сказал Учитель. — Ключ хранят неправильно. Человек в сером прячет свет. Ключ надо отдать Учителю.

— Какому учителю?

— Мне.

Илья проснулся со словом «сейф» во рту. Оно лежало на языке, как монета, которую положили ночью под подушку: металлическое, чужое, но по сумме — его.

Он лежал и слушал дом. Кирилл шумел в наушниках — уже тихо, на выходе. Мама шагала по кухне. Папин телефон не звонил, и от этого телефон был страшнее, чем если бы звонил.

— Сейф, — сказал Илья вслух, чтобы проверить, его ли это слово.

Слово не отозвалось. Оно просто лежало.

Третий сон начался плохо — Илья с самого начала знал, что этот сон не догуляется до конца.

Сад стоял. Чертёж стоял. Семь ямок ждали. Учитель стоял дальше, чем обычно, — у той границы, где тьма перестаёт быть цветом и становится стеной, и Илья впервые увидел, что у Учителя есть край. У всего, что стоит у стены, есть край.

Илья выдохнул — и пар лёг на землю. Здесь было не лето, но он был ещё в саду, а в саду тепло падало вниз, и это было правильно, как всё здесь было правильно.

Учитель обернулся.

— Нет, — сказал Илья вслух, во сне, — не надо.

Сна больше не было.

Илья стоял в коридоре. Ночь, лампа в прихожей не горела, но он видел — во сне видят лучше. Босые ноги на холодном линолеуме, рука на замке входной двери. Замок был тёплый — не так, как бывает от ладони. Так, как бывает от того, что держат с той стороны.

Во рту осталось слово. Он не успел произнести его — он его слышал: собственный голос, который говорил вежливо, как объясняют маршрут приезжему:

«Ключ в сейфе. Человек в сером прячет свет. Надо отдать ключ Учителю».

Илья снял руку с замка. Внутри, там, где у взрослых живёт спокойствие, было ровно и чисто, как в идеальном саду, — и от этой ровности впервые захотелось заплакать, не потому что страшно, а потому что ровно.

Он пошёл к себе. По дороге мимо родительской двери он остановился и подумал сказать папе. Потом подумал, что папа спросит, откуда он знает слово «сейф», и он не сможет ответить, а когда не можешь ответить — устав учит не спрашивать.

Это слово не приходило ему из снов. Оно пришло само, как приходит знание таблицы умножения: его не учат, его вспоминают.

Илья лёг. Утром он расскажет папе про сад — не всё, а только про то, что можно рассказать: про ямки, про ровные борозды. Про медальон и про человека в сером он не расскажет, не потому что запретили, а потому что внутри, под рёбрами, там, где ровно, было записано: не время.

Не время — значит, время придёт.

Он заснул ровно, и сон его не перебивал.

«Мёртвые мухи портят и делают вонючим благовонное масло мироварника»
— Еккл. 10:1

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. МУХИ

После показаний ему дали жильё при базе — комнату с окном во двор, железную койку и табличку на двери, где было напечатано не имя, а фамилия. Фамилию он вернул себе сам, четыре часа под расписку, и теперь фамилия была его, а табличка — государственной. Так он и разделил: себе — имя, государству — файл.

Работа у него была простая и честная: кладовщик при перевалочной базе. Принял — записал. Отдал — записал. За восемь месяцев он понял то, чего не понимал его бывший начальник с его империей: учёт — не наказание. Учёт — это опора. Пока ты вносишь в опись то, что держишь, никто не может внести в опись тебя.

Медальон лежал в сейфе. Не на теле — в сейфе. Правило он выучил раньше, чем кто-нибудь успел его сформулировать: предмет, который ведёт себя как живой, нельзя держать у кожи. Живое привязывается.

Скрежет по стеклу вернулся в четверг.

Он сидел за столом с чаем, когда звук изменился. Раньше мухи скреблись — как скребутся все мухи, вслепую, без мысли. Теперь по стеклу вели: длинно, с нажимом, одну линию от верха к низу, потом вторую, параллельную. Так пишет тот, у кого есть время и никто не смотрит.

Боус достал тетрадь и записал: «22:10. Не скрежет. Ведение». Подумал и добавил: «Две строки». Для почерка это было мало. Для мух — очень много.

И одну деталь он заметил и не записал: рука не поднялась. Раз в несколько минут одна из мух сбивалась с ритма — коротко, шершаво, как перо цепляет волокно бумаги. Сбивалась — и возвращалась в такт. Боус не знал, что перо где-то внизу делает то же самое; он знал другое: сбоя не бывает в идеальном учёте. Сбой означает либо несовершенный инструмент, либо того, кто пишет спотыкаясь. Восемь месяцев мухи вели себя безупречно. Теперь они сбивались. Значит, изменилось не в комнате. Изменилось в счёте.

Мухи были те же — тёмно-медные, с брюшком, отливающим синевой, как сургуч. Одна из них, та, что прилетала к нему ещё в порту, села на внешнюю сторону стекла напротив его руки и не двигалась, пока он не закончил запись. Он называл её про себя Копейкой. Копейка рубль бережёт — говорил он ей каждый вечер, и это была не примета, а учётная политика: у него было право на одно живое существо, не внесённое ни в какую опись.

В пятницу он провёл эксперимент.

Медальон остался в сейфе. Боус закодировал замок, закрыл дверь и уехал на сутки к Петру с базы — у того был дом с сараем и собака, которая лаяла на него первые десять минут, а потом легла рядом, как легают рядом с тем, от кого пахнет не тем, чем пахнут люди, но не опасным. Боус не спал полноценно. Он лежал и думал о том, что если скрежет зависит от него, то это не звук. Это адрес.

По дороге он зашёл в отдел, отметился по расписке — формальность, которую он соблюдал точнее, чем иные отбывают сроки. Проверенного не изымают — его переписывают. Он хотел быть переписанным как можно скучнее.

Вернулся он в субботу к полудню. В комнате было тихо. Он открыл сейф: медальон лежал на папках, звенья цепочки сложились кольцами, всё было как оставил. Он закрыл сейф и стал ждать темноты.

Скрежет вернулся с сумерками — и на первом же ведении сломался.

Три удара. Пауза. Три удара.

Не скрежет, не ведение — стук. Твёрдый, короткий, с просветом. Так стучат в дверь те, кто знает, что внутри есть кто-то живой, и не хотят напугать.

Боус стоял посреди комнаты и слушал. Стук шёл по стеклу, но слышался так, будто стекло — это дверь. Три. Пауза. Три.

Он подошёл к окну.

Мухи сидели на внешней стороне — десятки — и сидели не как мухи. Сидели как фигура: нижние сложились в спинку стула, средние — в наклонённую голову. Верхние добирали плечи. Фигуры целиком он не видел — он видел спину и наклон. По другую сторону стекла сидел человек и ждал, когда его позовут.

И фигура держалась без единого сбоя. Ни одна муха не дрогнула, ни одна не сместилась на волос. После утренних сбоев это совершенство напугало Боуса больше самого стука: сбой делает инструмент, а безупречность делает счётчик. На него смотрел не счёт. На него смотрел тот, кто его ведёт.

В доме напротив, у старушки с геранью, зажёгся свет. Силуэт подошёл к окну и остановился у своего стекла — две фигуры, разделённые двором и стеклом, обе смотрели на одно и то же. Старушка подняла ладонь к стеклу — не к нему; как прикладывают ладонь ко лбу, чтобы разглядеть. Потом свет погас.

Боус отошёл от окна, открыл сейф и взял медальон.

Он был тёплым.

Тёплым — сильнее, чем положено вещи, которую восемь месяцев держали в холодном металле. Тепло шло изнутри, ровно, как пульс. Он положил медальон на стол и отнял руку.

Тепло не ушло. Медальон лежал на столе, отдельно от всего живого в комнате, и был тёплым.

Он смотрел на него долго. Потом достал тетрадь и записал: «23:40. Предмет тёплый вне руки. Тепло не зависит от держащего. Если это так — то, что я храню, не металл и не мёртвое».

И тогда он увидел цепочку.

Он снял её с медальона и поднёс к лампе. Восьми месяцам в сейфе не полагается износа: металл, который лежит, не тянется и не блестит свежим. А на третьем звене блестело — царапина, свежая, с плохо зашлифованной кромкой. Так изнашивают цепь не ношением в кармане. Так изнашивают ношением на шее, рывком, торопливо.

Кто-то носил медальон. Недавно. И делал это торопливо.

Боус вернул цепочку на место, закрыл сейф и сел к тетради. Перо шло ровно: руки, которые дрожали по вечерам после Пальмиры, дрожали теперь только тогда, когда дрожать было уместно. Сейф держит металл. Мухи держали тёплым то, что осталось от писца. А цепь кто-то надевал на себя — в эти восемь месяцев, пока медальон лежал на папках, — или это была не цепочка, а её близнец, и тогда на свете было два медальона, и второй он никогда не держал в руках.

Мысль пришла к нему в самом конце, и он дописал её не сразу: почерк дрогнул.

Носить можно было и во сне. Не помня.

Последняя запись за субботу была короткой: «Медальон тёплый вне руки. Цепь носили. Не знаю, кто».

Он посмотрел на строку, подумал и дописал: «Может, я».

Копейка сидела на внешней стороне стекла напротив его руки и не двигалась, пока он не закончил. Потом снялась, сделала круг по двору — и ушла в сторону больницы.

* * *

«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столпов своих»
— Притч. 9:1

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. СЕМЬ СТРОК

Дмитрий Остапович Канов вёл сетку двадцать два года — с тех пор, как вышел из профессорской карьеры в ведомственную тишину, где следствие без слухов, а слухи без следствия. Сетка жила в синем блокноте семнадцатого года выпуска, который он купил в Пальмире у старьёвщика вместе с полными документами на несуществующий вексель. Блокнот был опрятен до безумия: семь строк, семь граф. Номер. Время. Строка. Кто слушал. Кто говорил. Последствия. Состояние.

Строгое правило сетки он соблюдал с первого дня и никому не доверял больше, чем самому себе: слушатель и говорящий не одно и то же. Случай, когда они совпадают в одном человеке, — не случай, а диагноз; и диагноз этот не медицинский.

— Теория — это когда объясняешь, — говорил он Стуруа, когда тот в третий раз требовал «методологию». — Сетка — это когда ждёшь. Разница такая же, как между анатомией и ожиданием поезда.

Первую строку сетки принёс архивариус хранилища — Архип Савельевич, человек, который двенадцать лет перечитывал тетради Изекириля по кругу, как читают молитву: не для информации, для порядка.

Он пришёл в кабинет Канова в понедельник, сел на край стула и сказал, глядя в пол:

— Дмитрий Остапович. Я слышу голос.

— Что за голос?

— Он читает мне тетради. В такт. Когда я читаю — он читает со мной, на полстроки впереди. Когда я останавливаюсь — он останавливается. Я думал это уши. Проверял у лора. Уши в порядке.

Канов открыл сетку и вписал в первую строку: Архивариус. Голос читает в такт тетрадям. Явление.

— Явление? — переспросил архивариус.

— Не сущность, — сказал Канов. — Сущность требует доказательств. Явление требует протокола. Я пока умею только второе.

* * *

Вторую строку вписал Зарин — по Кацильяну, ещё до падения, из их консультации.

Кацилян говорил о своей работе как счетовод говорит о чужой: «У меня в голове остатки, Дмитрий Остапович, и они не сходятся. Психика травму объясняет. Она не объясняет падежей». Зарин пересказал это Канову дословно и добавил: «Он говорит о грамматике как о погоде — с сожалением, что не выйдет дождь». Канов вписал: Кацилян. Грамматика без объяснения. Говорящий — не он.

Третья строка пришла с окраины: студентка вечернего училища, сидевшая в приёмном отделении с порезом на ладони, повторяла одну фразу — «недостачу покрывают» — тридцать один раз, отрывисто, как отбивают время на телеграфе. Зарин слушал сам, без посредников. После тридцать второго раза она замолчала на середине фразы, как лампа перегорает на середине слова.

Четвёртая строка — женщина в спирте. Её Канов получил дважды: до и после. До — из разговора соседей по дому: женщина сорока лет месяц говорила в пустую комнату, «вход через вытеснение», и соседи уже привыкли, как привыкают к току воды. После — из морга: она вернулась тёплой. «Слепота, — сказал Зарин, — всегда одна и та же, если она одна и та же». Канов вписал в две строки: до и после, с разницей во времени сорок минут.

Пятая строка — хранилище. Стуруа принёс справку: «Витторио Инвест» торговала канцелярскими принадлежностями. Бумагами. «Контора, которая торгует бумагами, — сказал Канов, — пишет бумаги, которые пишет сам. Это не юмор. Это — бухгалтерия».

Шестую строку Канов не вписал.

Он смотрел на пустую графу и чувствовал то, что чувствует человек перед зеркалом в пустой комнате: взгляд со спины. В неё он вписал не факт, а вопрос — единственный раз за двадцать два года нарушив собственное правило:

Что, если она пустая, потому что в неё ещё никто не смотрел?

И затем, отточенным, ниже: Сетка — для фактов. Вопрос — для совести. Разделить.

Седьмую строку он знал с самого начала и не хотел вписывать. Кацилян. Падение. Речь о «дальней смене». Канов вписал: Последствия — ещё нет. Состояние — ждёт.

* * *

В среду часы в его кабинете встали.

Не остановились — встали. Обе стрелки замерли на четверти девятого, хотя механизм тикал и батарейка была новой. Канов постучал по стеклу — стрелки не шелохнулись. Он записал в блокнот: Часы встали. 20:15 по механизму. Не по времени.

Стуруа, которому Канов показал часы, усмехнулся:

— Совпадение.

— Совпадения, — сказал Канов, — это статистика. А у нас с вами уже закономерность.

Он не знал ещё — он узнает это в следующей главе и в другой комнате, — что где-то в городе часы с застрявшей секундной стрелкой уже ждут в холле конторы, которая торгует бумагами.

* * *

В четверг поздно вечером в приёмную ведомства вошёл человек в сером. Седой, немного сгорбленный, с лицом, которое в бумагах не замечают. В руках — корочка удостоверения страхового представителя: печать, номер, срок действия. Всё чисто. В кармане у него лежала зажигалка без газа.

Он назвал дежурному отделение, палату и фамилию бухгалтера, доставленного накануне. Дежурный записал. Человек в сером прошёл в коридор реанимации — и по дороге ни один датчик, ни один глаз охраны его не задержал: не потому, что он был невидим, а потому, что он был своевременен. У системы не бывает подозрений к тем, кто приходит по расписанию.

Дежурный, впрочем, ещё успел заметить одну деталь, которую потом в протоколе не сможет объяснить: человек в сером прошёл мимо поста и кивнул ему — вежливо, как кивают не людям, а должностям.

Палата 6. Койка вторая. У изголовья спал Кацилян Аристарх Моисеевич, четыре суток не смыкавший глаз до падения и теперь спавший, как спят после долгого дежурства: глубоко, послушно, без снов.

Человек в сером стоял у изголовья и ждал.

Он не наклонялся. Не шептал. Не трогал. Он просто стоял — и этого было достаточно, потому что очередь не входит в сон, очередь его создаёт.

За окном реанимации горел обычный вечер: город, свет, прохожие, у которых всё было хорошо.

Человек в сером вынул из кармана зажигалку, повертел в пальцах и снова убрал — так, как убирают документ, который не понадобится до утра.

* * *

«И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» — Мф. 5:15

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. НОЧЬ ПЕРВОЙ СВЕЧИ

Во вторник вечером в квартире Кацильяна погас свет.

Не во всём доме — только у него. За окном горели фонари, в соседнем подъезде светилось окно старухи со второго этажа, у которой по вторникам показывали её любимый сериал. Погасло только у Кацильяна, и погасло не так, как гаснет проводка: сначала потеряла накал лампа, потом сгустились углы, потом темнота пришла к столу и легла на ведомости, не задев ни одной строки.

Кацилян не вскочил, не пошёл искать пробки. Он сделал то, что делает бухгалтер: проверил наличие. В ящике нашёлся огарок — свеча, купленная два года назад на дачу и с тех пор переезжавшая с ним из ящика в ящик. Он зажёг её спичкой и поставил в стакан.

Огонь свечи не дрожал.

Кацилян заметил это не сразу — заметил, когда потянулся за линейкой и увидел, что пламя стоит в воздухе, как нарисованное. За окном не было ветра, но и в комнате воздух не двигался так, чтобы держать огонь столбом. Он смотрел на ровный огонь, и в голове у него, у счетовода, шла одна мысль, простая и страшная: ровный огонь — это огонь без остатка. Настоящий огонь расходует себя неровно.

Он работал до трёх. Недостача сошлась в полночь — сошлась не в ноль, а в объяснимое: сумма нашлась, подписалась, закрылась. Кацилян аккуратно подколол ведомости и почувствовал то, что чувствует человек после закрытия квартала, — пустоту правильной формы.

За окном, в отцветающих тополях, кто-то вёл счёт: три, пауза, три.

Когда он снимал халат, чтобы лечь, в кармане шуршало.

Записка была на бумаге, которой в его квартире не водилось: плотной, кремовой, с сеткой от исчезающей вёрстки. Почерк — ровный, с нажимом, с той манерой ставить связки, которая бывает у людей, всю жизнь пишущих для чужого чтения.

«Вы считали верно. Недостачи нет. Есть возврат».

Подписи не было. Кацилян держал листок двумя пальцами, как держат чужой пропуск, и понимал: записка — не послание. Это отметка. Твою работу приняли.

Он положил записку в кассовую книгу — между ведомостями, на её законное место — и лёг. Свечу он не потушил: она догорела сама, ровно, до конца, не мигнув. Это была первая свеча. Остальные шесть он ещё не видел.

* * *

В ту же ночь, в другой части города, Поладин проснулся от звука открывающейся двери.

Илья шёл по коридору — ровным, честным шагом человека, который проснулся по будильнику, — глаза открыты, лицо спит. Поладин не хватал его: лунатика не трясут, их ведут рядом, как ведут рядом с человеком, которому не говорят, что он во сне. Он пошёл следом, держа ладонь в пяти сантиметрах от плеча.

Илья остановился у входной двери. Положил ладонь на замок. Постоял — секунды три, не больше. Потом повернулся и пошёл в комнату.

Замок был тёплый.

Поладин тронул его пальцами — рифлёную головку, которую всю ночь держал холод сквозняка, — и металл грел, как полированная в руке ложка. Он укладывал Илью и думал не о том, что замок тёплый, а о том, что тепло на замке — это запись. Кто-то держал этот замок до Ильи. Или вместе с ним.

Утром Илья ничего не помнил. За завтраком он сказал: «Мне снилась очередь», — и Поладин уронил соль.

* * *

В среду утром Кацилян Аристархович был найден на служебной лестнице между третьим и вторым этажом.

Свидетелей не было. Перила были целы — на них не осталось даже жира от ладоней, как будто никто не хватался. Синяки у Кацильяна были, но не те: не там, где падающий человек бьётся о края, а ровно на спине и на внешних сторонах предплечий — так падают те, кого несут.

В реанимацию его привезли в 9:20 с диагнозом, который не складывался ни в одну графу: «травма без источника».

В четверг вечером у койки второй, в палате 6, появился человек в сером. Он стоял у изголовья и ждал, не наклоняясь и не трогая, — и этой неподвижности было достаточно. В 01:56 он вынул зажигалку и чиркнул колесиком.

Искра была — короткая, белая, честная. Пламени не было: газа не было. Рой смотрел, как искра гаснет в воздухе палаты, не встретив топлива, и думал свою профессиональную мысль: идеальная операция. Выплата без убытка. Смерть без пожара. Смена окончилась в четыре минуты второго.

Кацилян спал — глубоко, послушно, без снов. Сон, который создаёт очередь, не отличается от настоящего. Отличается утро.

* * *

В субботу утром Зарин заступил на дежурство, и Кацилян, проснувшись, сказал ему фразу, которую Зарин потом вписывал в блокнот трижды, сверяя с памятью:

— Я не падал. Меня снимали.

— Кто? — спросил Зарин.

— Не знаю, — сказал Кацилян. — Слушайте меня внимательно. Я сейчас скажу то, чего не говорил ни одному врачу, потому что врач запишет диагноз, а диагноз — это закрытие графы. Вы запишите в графу «состояние». Слово в слово.

Зарин достал блокнот. Кацилян лежал на клеёнчатой кушетке, но сам он, как понял вскоре Зарин, находился в точке бухгалтерского нуля.

— У меня нет ни холода, ни жара, — сказал Кацилян. — И это не онемение и не жар. Явление не похоже ни на что человеческое, поэтому объясняю по-бухгалтерски. Первым исчез внутренний метроном. У живого человека кровь пульсирует не только от сердца — она пульсирует теплопереносом: от разогретого ядра к остывающим конечностям. У меня этот маятник остановился. Кровь в сосудах стала химически нейтральным реактивом — густым, тяжёлым, и она не остывает. Она не остывает, Зарин. Она сохраняет ровно ту температуру, при которой меня застал съём. Законы физики больше не учитывают это тело как открытую систему.

— Пощупайте запястье, — сказал он. — Сейчас вы поймёте главную графику.

Зарин коснулся запястья. Кацилян знал о прикосновении не через нервные окончания — кожа перестала быть границей между «я» и «мир», она стала поверхностью документа. Пальцы Зарина не принесли тепла человеческого тела — они принесли факт давления. Прикосновение было изменением плотности воздуха над участком кожи, как если бы на чистый лист положили пресс-папье. Там, где лежала рука Зарина, не было «тепло».

Там было «занято».

— Дальше, — сказал Кацилян. — Живое тело никогда не бывает неподвижным. Волоски реагируют на сквозняк, волокна делают микронасосные движения, диафрагма едва подрагивает. Во мне всё прекратилось. И это приносит не облегчение, а страх другого порядка. Моё тело держит форму, как чаша весов перед тем, как на неё опустят гиря, — только за счёт натяжения кожи и жёсткости костей. Оно перестало тратить энергию на поддержание жизни. Отсутствие жара означает: печь погашена. Отсутствие холода означает: тело не начало остывать, как остывает мясо, потому что распад приостановлен. Кто-то приостановил его актом учёта.

Он помолчал.

— Самое мучительное — слух. В ушах не звенит: звон требует движения воздуха и крови. Я слышу вас через вибрацию пола — она передаётся костям таза и плеч. Звуки мира доходят до меня не как волны, а как строки протокола, выбитые в бетоне. Я слышал ваше дыхание в другом конце палаты, ещё до того, как вы вошли. Желудок не требует пищи. Лёгкие не требуют глубокого вдоха. Жажда не сушит гортань. Тело живёт на остатке, зафиксированном в момент падения. Я не человек, Зарин. Я плотно закрытый сейф. Внутри хранится предмет — моё сознание, — а само хранилище опечатано.

— А тепло? — спросил Зарин.

Кацилян усмехнулся — в первый раз за все дни.

— А вот тут главное. Над всем этим, поверх отсутствия температуры, лежит вес чужого тепла. Я знаю правило: тело, покинутое сущностью, возвращают тёплым. Это тепло не греет меня изнутри. Оно лежит на мне, как тяжёлое, сырое шерстяное одеяло, которое забыли просушить. Это не моя температура. Это числится за мной. В груди, там, где раньше болело сердце от стенокардии, теперь стоит холодный медный штемпель. Я — не строка с пустой графой. Я строка, в которой в графе «Состояние» уже выведено, и выведено каллиграфически: «Принято. На ответственное хранение. Тепло взаймы».

— Впишите это в состояние, — сказал он. — Дословно.

Зарин вписал. Рука не дрожала; дрожала лампа над койкой — мелко, ровно, как дрожит вода, по которой идёт лодка.

— И последнее, — сказал Кацилян, уже закрывая глаза. — Самое страшное — не отсутствие жизни. Понимаете, я не пустой. Я инвентаризированный. И за каждую минуту этого идеального, нулевого покоя кто-то другой в городе прямо сейчас платит своим неучтённым жаром. Ищите, кто платит. По остатку. Он виден.

Он уснул — или его снова приняли, Зарин не сумел различить, — и Зарин остался стоять у койки с открытым блокнотом, в котором впервые за службу была запись, не подлежащая проверке. Не потому, что нечем проверить. Потому что проверять нечем: реанимация не имела инструментов для графы «тепло взаймы».

За окном реанимации горел обычный день: город, свет, поликлиника напротив, у крыльца которой грелись на солнце бабушки, у которых всё было хорошо.

* * *

«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть на гроб»
— Мф. 28:1

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ

Воскресенье пришло в дом Поладиных с запахом жареного лука.

Поладин жарил яичницу на троих — привычка, оставшаяся от жены, которую он не умел ни возродить, ни отложить. Кирилл накрывал на стол, стуча вилками точнее, чем требовалось, Илья сидел в углу и рисовал.

Рисовал он диспетчерскую. Башню с рядами одинаковых окон, из одного окна — свет; под башней платформа, на платформе человек с флажком, и флажок поднят не вверх и не вниз, а в сторону, как поднимают его для не предусмотренного регламентом сигнала. Илья рисовал без единого разрыва, как рисуют то, что видел.

— Откуда у тебя это? — спросил Поладин.

— Просто рисовалось, — сказал Илья.

Кирилл поставил на стол чайник и спросил неожиданно:

— Пап. Что такое устав?

Поладин выключил плиту не сразу — на секунду задержал руку на переключателе, как задерживают дыхание.

— Порядок, по которому кто-то ведёт счёт, — сказал он. — Если ведут по уставу, счёт сходится.

— А если не по уставу?

— Тогда счёт сходится тоже. Но уже не тот.

Кирилл кивнул, как кивают не слово, а вес слова, и Поладин спросил:

— Откуда ты это слово взял?

— Илья во сне говорил, — сказал Кирилл. — Всю ночь. Ровно так: у-став. У-став. Как метроном.

Илья не поднял головы от рисунка. Поладин посмотрел на младшего сына, на башню с одним освещённым окном, на человека с флажком — и в первый раз за много лет ощутил в собственном доме то, что ощутил когда-то только в морге: присутствие учёта.

* * *

В субботу вечером он ездил к Канову. Канов показал ему сводку — одну страницу, от руки, семь граф.

Первая строка: Кацилян. Жив. Реанимация. Состояние — принято на хранение.

Вторая: студентка вечернего училища. Мертва. Последние слова зафиксированы тридцать один раз.

Третья: женщина с Заречной. Мертва. Вернулась тёплой.

— Три случая — это уже график, — сказал Канов. — График — это порядок. Порядок — это устав. Всё, Сергей Владимирович. У нас есть устав, и мы его читаем по обрывкам.

— Кто автор? — спросил Поладин.

— У устава нет автора, — сказал Канов. — У устава есть исполнитель. Автор — это тот, кто может переписать. Исполнитель — тот, кто обязан записать. Мы ищем не автора. Мы ищем того, кто не может остановиться.

Поладин вёл машину обратно молча. У светофора унёс мысль в сторону, как уносят от себя тяжёлое: он не сказал Канову про замок, про который тепло держало Илью. В тот вечер он ещё не знал, что это была первая из его немых записей в чужую ведомость.

* * *

В Пальмире, тем же вечером, Боус разворачивал свиток.

Он сделал это по протоколу: перчатки, лупа, полная тишина, звонок отключён. Свиток лежал на сукне, строки гасли слева направо, как остывающий металл, — Боус успевал читать только хвост, и хвост читал. Он понимал каждое третье слово, но имена читал мгновенно — имена он умел читать с детства: реестр, перечень, опись.

На свежем хвосте имени хватило на половину.

«Изеки—».

Свиток погас на середине слова, как гаснет строка, у которой кончилось разрешение на запись. Боус сидел неподвижно, потом поднялся, открыл сейф и достал записку, которая пролежала там год: «Прошу прощения. Не следовало».

Он положил записку рядом со свитком и сверил почерк. Наклон. Нажим. Манера ставить связки. Всё совпало — до такой степени, что совпадение перешло из разряда фактов в разряд тождеств.

Он взял тетрадь и записал:

«23:50. Свиток назвал половину имени. Почерк совпадает с запиской из Пальмиры полностью. Ведомость имела автора до того, как имела имя».

И ниже, отточенным:

«Он писал мне. Теперь он пишет всё».

За окном, в отцветающих тополях, мухи вели счёт: три, пауза, три. Боус слушал их, как слушают хорошие ведомости: не думая, впитывая. Он не знал ещё, что через несколько дней свиток произнесёт имя целиком, а он сам — что встанет перед выбором, который не входит ни в один протокол: читать или хранить.

Но это будет следующая суббота. А пока в доме за тарифной будкой горела одна лампа, и старый бухгалтер сверял остатки с тем, кто писал их быстрее него.

* * *

«Из уст двух или трёх свидетелей утвердится всякое слово»
— 2 Кор. 13:1

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ТРИ СТРОКИ

Во вторник Зарин принёс Канову три выписки — каждая на одном листе, каждая подписанная источником и датой.

Первая — со слов студентки вечернего училища, тридцать одно повторение одной фразы: «Недостачу покрывают».

Вторая — со слов женщины с Заречной, месяц говорившей в пустую комнату: «Вход — через вытеснение и опускание вниз».

Третья — из протокола Кацильяна, сказанное под протокол и, как понял Зарин теперь, сказанное не им: «Тело, покинутое сущностью, возвращают тёплым».

Зарин положил листы в ряд, как раскладывают карты, и увидел то, что не увидел бы по одному.

— Смотрите, — сказал он Канову. — Они не повторяют друг друга. Они продолжают. Недостача — это про книги. Вход — это про людей. Тепло — это про тело. Три статьи одного регламента, записанные тремя устами, которые не знали друг о друге.

Канов взял третий лист — кациляновский — и провёл пальцем по строке.

— Здесь есть нумерация, — сказал он. — «Статья пятая». Но у нас три статьи. Пятая — значит, есть первая, вторая, третья, четвёртая. Мы слышали не всё. Мы слышали оглавление чужой книги по трём вырванным страницам.

— И это регламент, — сказал Зарин. — Не цитаты. Не выкрики. У каждого — последствия, не угрозы. Устав не угрожает. Устав исполняется.

Поладин сидел в углу кабинета. Его позвали, потому что линия порта была его, и потому что он был лучшим в управлении по слуху на живую речь. Он молчал сорок минут. Раньше он перебил бы трижды — он был из тех следователей, которые думают вслух, и вслух же спорят с собой. Теперь он слушал, как слушают чужой счёт: не вмешиваясь, потому что понял простое. Счёт, который идёт без тебя, не сбивается. А если ты вступишь — ты станешь строкой.

В конце совещания Канов сказал ему:

— Вы молчите.

— Я записываю, — сказал Поладин.

— Что?

— Про себя. — Поладин поднял глаза. — Дмитрий Остапович, я не могу вслух сказать половину из того, что услышал сегодня. Слово «Изекириль» у меня во рту как косточка. Я знаю: произнесу — и уже не верну обратно, оно уйдёт в описание и ляжет в опись. Я буду молчать, пока молчание не станет соучастием. Тогда скажу.

Канов не стал спорить. Он знал этот сорт молчания: молчание человека, который считает не слова, а последствия.

* * *

В приёмном отделении, тем же вечером, Вера Павловна писала.

Она писала, как дышат: между делами, на ходу, ручкой из кармана халата, на оборотах больничных бланков. Написанное она складывала вчетверо и прятала в жестяную банку из-под чая, которая стояла в шкафчике раздевалки за банкой кофе и пачкой галет.

Банка была её архивом. Тридцать две записки — по числу ночей с того лестничного пролёта, на котором она стояла, когда уносили бухгалтера. Ни одной не отдала. Некуда было сдавать: в её ведомстве не существовало графы для того, что она видела, — а в графу «не установлено» писать было всё равно что лгать.

Сегодня она написала тридцать третью — короткую, одну строку:

«У этого есть нумерация».

И, перечитав, добавила ниже, уже не как запись, а как отчаяние, честное, как отчаяние людей, которые привыкли сдавать смены:

«Если у этого есть нумерация, значит, есть и журнал. А если есть журнал — значит, кто-то его ведёт. И тогда мне пора перестать писать в банку. Мне пора найти того, кто ведёт».

Она закрыла банку, поставила на место, за банку кофе, и осталась стоять у шкафчика, глядя на своё отражение в дверце. Отражение было на полсекунды позади — но она этого не заметила: на полсекунды позади отражались только те, кто уже был записан.

* * *

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» — Еккл. 12:7

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. МОРГ

Павел Игнатьевич работал сторожем в морге тридцать один год и знал своё тело так же хорошо, как график обходов. Обход — в одиннадцать, в два, в шесть. Между обходами — журнал, чай и тишина, к которой он привык, как привыкают к собственному голосу.

В четверг ночью, на обходе в два, он заметил.

Полка четырнадцатая — женщина, привезённая в 23:40 с Заречной, диагноз «причина не установлена». Тело лежало ровно, лицо было спокойное, — всё как положено, кроме одного. На ледяной полке вокруг тела был тёплый круг радиусом в ладонь.

Павел Игнатьевич положил на полку ладонь — не на тело, рядом. Тепло живой кожи. Не остаточное тепло, не «ещё не остыло» — он сорок лет различал остывание, как различают остановку поезда по звуку. Это было тепло присутствия: как от человека, который только что встал с места.

Он не вызвал никого. Он сначала пожалел — по-сторожески, молча, — потому что тепло на мёртвом всегда чужое, и жалость в морге — это то же уважение, только честнее.

Потом пошёл за журналом.

Журнал приёма лежал на подоконнике дежурки, в клеёнчатой обложке. Павел Игнатьевич раскрыл его на четверге и замер.

Против строки женщины, в графе «состояние», где его рукой было выведено «остывшее», стояла поправка: «тёплым». Поправка не зачёркивала — она дописывала поверх, как пишут новой краской по старой, не дав старой высохнуть. А в графе «время» стояло: «02:14».

02:14. Время, которого не было в момент приёма: тело привезли в 23:40. 02:14 — время, когда Павел Игнатьевич в этот самый час обходил зал и не заметил ничего.

Он сверил свои часы — расхождение в одну минуту. Записал в свой черновик, по привычке, всё как есть — и на обороте журнала, там, где он из года в год отмечал температуру в помещении, нашёл четыре слова, написанные тем же ровным почерком с нажимом:

«За тех, кто не сдал».

В 03:00 он вышел во второй раз — не по графику, по страху, который ходил у него за спиной, как младший напарник. И увидел мух.

Они висели нитью. Через весь зал — от вентиляционной решётки к двери — тянулась линия из мух, каждая на своём месте, как стежок на своём месте: шов, снятый с катушки. Он прошёл под ними, чувствуя, как по спине идёт жар, — и мухи не шелохнулись. Это было хуже любого звука: неподвижность, у которой есть цель.

В 04:10, у конца коридора, он увидел человека.

Человек шёл — Павел Игнатьевич слышал шаги — но шагов у него не было веса: пол не отозвался ни одним звуком. Свет горел тускло, лицо человек держал опущенным, но не как виноватый — как читающий. Он шёл к выходной двери, и Павел Игнатьевич с ужасом, который узнал позже, понял: он выйдет через закрытую дверь.

Так и было. Человек вышел, а дверь не открылась. Ни звука, ни щелчка, ни света из-за двери. Как будто он не прошёл.

Как будто он прочитался.

* * *

Зарин приехал в морг утром — по вызову, о котором дежурный сказал: «Сторож что-то несёт, руководитель, вы уж сами».

Зарин слушал сорок минут, не перебивая. Потом осмотрел полку: круг остыл к шести утра — ровно к шести, как по графику, как остывает всё, что переводят из ведомости в опись. Он приложил ладонь — лёд. Он приказал ничего не трогать до комиссии и спросил у сторожа журнал.

Четыре слова он списал в блокнот: номер, слова, время, кто слушал.

— Кто слушал? — повторил он про себя и ответил сам себе: — Все. Тело слушало. Полка слушала. Я слушаю сейчас.

Он вписал и то, что сторож сказал про шаги без веса, — и то, что сам подумал, глядя на пустую четырнадцатую полку: первое тело, которое не унесли санитары. Его увели по описи.

Вечером он доложил Канову. Канов слушал, не перебивая, потом сказал:

— Значит, так. То, что было до этого, — записи, строки, явления. А это — выход. Впервые сущность вышла наружу, в коридор, в дверь, в город. Мы больше не следствие по серым делам. У нас объявился участник, у которого есть право передвигаться.

Он открыл сетку и напротив четвёртой строки, в графе «последствия», вписал: Выход состоялся. Лицо установлено не будет. Будет установлен порядок передвижения.

— Какой? — спросил Зарин.

— Он ходит как читают, — сказал Канов. — Без веса, потому что вес — это сопротивление, а чтению не в чем сопротивляться. Запишите: не гонимся. Наблюдаем. Первое появление всегда тише, чем второе.

* * *

«И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и напиши на нём начертанные знаки» — Ис. 8:1

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. САМОПИСЕЦ

Суббота выдалась на редкость простая. По всему району с утра пахло жареной картошкой, на балконах сушили бельё, у управы двое в спецовках красили ограду — светло-серой, аккуратно, не задевая прутья, на которых ещё просыхала вторая полоса. Первое похолодание пришло тихо, без ветра: вечер опустился на город как протёртое стекло. Люди достали тёплые куртки, поругались в очередях из-за гвоздиков и разошлись по домам. Ни один из них не знал, что в этот вечер в частном доме за тарифной будкой кто-то начнёт писать сам.

* * *

Боус сидел за столом при одной свече. Свечу он зажёг не для света — для порядка. Тетрадь лежала раскрытой, рядом линейка и острый карандаш, очки протёрты. Обычная бухгалтерская ночь: сверка остатков.

Только на столе, кроме тетради, лежали медальон и свиток.

Мухи вечером сменили ритм. Не «три-пауза-три», как в ночь падения Кацильяна, — теперь они стучали шестёрками, с захлёбами, как будто кто-то торопливо проговаривал счёт и сбивался. Боус занёс в тетрадь: «23:10. Сменился ритм. Кто-то третий говорит». И добавил ниже, не думая: «Или тот же, но не с нами».

Свиток лежал вдоль кромки стола, свёрнутый, обвязанный той самой бечевой, которую Боус перепроверял шесть раз. Он не собирался его разворачивать. Он вообще не собирался его трогать — просто сверял положение: лежал там же, где вчера, — угол к углу, как документ в описи.

В 23:40 медальон потеплел.

Не как раньше — не от руки. Боус держал руку на отлёте, пальцы на тетради. Металл грел сам, ровно, как ложка, забытая в стакане с чаем. Боус посмотрел на него, потом на свиток.

Свиток дрогнул.

Не развязался — и бечева осталась на месте. Но по его поверхности, изнутри, прошла тень, как будто под обложкой дневника шевельнулась страница.

Боус не вскрикнул. Он взял линейку и положил её на стол параллельно свитку — сверять. У него не было другого языка для происходящего, кроме языка учёта, и это спасало его уже второй год.

В 23:47 на бечеве лопнул узел. Не развязался — лопнул, сухо, как перетёртая жила. Свиток развернулся сам, до половины, и лег так, будто его так и оставили читать.

Строки на нём не были написаны.

Они прорезались. Медленно, как шрам: сначала белая полоса, потом она наливалась тёмным, и чернила выступали из бумаги, как кровь из-под ногтя. Боус смотрел, как буква за бук-

вой, строка за строкой вырезает себя в чистом пергаменте, — и впервые за долгое время почувствовал, что руки дрожат, и впервые за долгое время позволил им дрожать, потому что у него никого не было рядом, кто мог бы это увидеть.

Строка гасла слева направо, как остывающий металл. Успеть прочесть можно было только хвост, свежий.

Боус читал. Он не понимал половины слов, но имена читал мгновенно — имена он умел читать с детства: реестр, перечень, опись.

И вот на свежем хвосте, там, где чернила ещё блестели, проступило имя.

Изекириль.

Боус не знал этого имени. Но он знал почерк — с той единственной записки, что пришла ему в Пальмире с правилом вместо жалости: «Прошу прощения. Не следовало». Он держал ту записку в сейфе год. Почерк был тот же: наклон, нажим, манера ставить связки.

«Значит, — подумал Боус с ледяной ясностью человека, который всю жизнь сверяет остатки, — ведомость приняла нового».

Свиток дописал строку до конца и умолк, как умолкает пишущая машинка, если рука ушла с клавиш.

Боус сделал то, чего не делал никогда: взял медальон и поднёс его к странице.

Чернила теплеют. Он не поверил себе и поднёс тыльной стороной пальца — ладонь греет всегда, это не доказательство. Пальцем. Медленно, вдоль свежей строки.

Тёплые. Теплее бумаги, теплее воздуха, теплее его собственной руки в этом месте. Печать и ведомость узнали друг друга — Боус не знал этих слов, но почувствовал именно это: не как тайна, а как встречу двух граф, между которыми уже всё подписано.

Он записал в тетрадь: «00:04. Свиток написал имя. Имя совпадает с почерком записки. Тепло, которое было взаймы, теперь числится».

И ниже, отточенным: «Опись пополнилась без заявления».

* * *

Стук в дверь был вежливым — четыре удара, пауза, ожидание, как у людей, которые стучат в кабинеты.

На пороге стояла женщина в больничном плаще поверх пальто. Боус узнал её не сразу — узнал по тетрадке в целлофане, которую она прижимала к груди, как сдают документы.

— Вы Боус? — спросила она. — Меня мухи привели.

Она сказала это без всякого нажима, как говорят «меня автобус привёл». Боус отступал, пропуская. С годами он понял простое правило: с людьми, которых привели мухи, разговаривают на пороге не дольше трёх секунд.

— Вера Павловна Сомова, — представилась она, проходя. — Санитарка. Приёмное. Ночью, когда принесли бухгалтера, я стояла на лестнице. Потом… потом они ушли. Поперёк фонаря, на уровне третьего этажа, как проволока, снятая с катушки. И повели сюда.

— Ко мне, — сказал Боус. Не спросил.

— К вам.

Она выложила на стол четыре записки — сложенные вчетверо, на больничных бланках, обратной стороной. Почерк ровный, с нажимом: почерк человека, который всю жизнь пишет карты наблюдения.

— Я пишу, — сказала она просто. — Я не знаю, кому. Ящик у проходной — я туда уже сносила. Но больше некуда, понимаете? Носить в кармане халата записи, которые никто не прочтёт, — это не работа. Это уже… — она поискала слово и нашла честное: — это уже болезнь. Или вера.

Боус развернул первую записку. Потом вторую, третью, четвёртую. Читал молча, растягивая время чтения, как растягивают хорошее.

На столе, между записками и свитком, лежал медальон — тёплый.

— Вы тоже это ведёте, — сказала Вера Павловна не спрашивая. — Вижу. По тому, как вы разложили.

— По остаткам, — сказал Боус. — Садитесь. Будете видеть — я буду записывать. Двоим быстрее.

Она села. Свеча качнулась. Мухи за окном перешли на ровное «три-пауза-три» — словно успокоились, что учёт не прервётся.

* * *

В понедельник кабинет Канова пах краской — соседнюю дверь красили, и маляр разговаривал через коридор сам с собой, весело, как разговаривают с собой люди, у которых всё в порядке.

Тройка сидела втроём — впервые за три месяца в полном составе и без повода, который можно было бы вписать в шапку дела.

Зарин положил на стол три листа.

Первый — письмо Ирины, сложенное вчетверо: дословная запись слов студента, время, аудитория, что стоял за окном свет. Она записала по педагогической привычке — «фиксируй

сказанное, потом разбирай» — и прислала мужу со странной припиской: «Ты поймёшь, я не поняла».

Второй — протокол допроса Кацильяна, выписка: «За тех, кто не сдал».

Третий — слова человека, который рыдал, увидев Зарина, перед тем как взять нож.

— Раскладываем, — сказал Зарин. — Не цитаты. Не выкрики. Смотрите: у них есть нумерация. У них есть порядок. Одно — про покрытие недостачи. Второе — про вход через вытеснение и опускание вниз. Третье — про тело и тепло. И у каждого — последствия. Не угрозы. Последствия. Это не Библия, не инструкция по технике безопасности, не что-либо из установленного. Это регламент.

— Регламент чего? — спросил Стуруа.

— Вот это и висит, — ответил Канов.

Он открыл блокнот и стал переносить. Стуруа тем временем выложил на стол справку — жёлтую, прошитую, с мокрой печатью хранилища.

— Есть ещё, — сказал Стуруа. — Специальная проверка при перерегистрации фонда. Тетради Изекириля. Двенадцать лет лежали, двенадцать лет Архип Савельевич их перечитывал по кругу — сами слышали. Так вот. Они переплетены заново. Нити внутренние, шов не человеческий. Эксперт говорит — никогда такого не видел. А главное: по описи листов стало больше. На две страницы.

В кабинете стало тихо так, как бывает тихо в большом учреждении после шести — когда гул уходит и остаётся только гул в трубках, если трубки оставить трубками.

— Дописались, — сказал Зарин.

— Дописывались сами, — поправил Канов. — Это разные вещи.

Поладин молчал всё это время. Он сидел, положив ладонь на стол, и под ладонью, как под арестом, лежала зажигалка без газа.

Потом он снял руку.

— Изекириль, — сказал он.

Имя вышло из него легко — слишком легко для того, что он хранил девять недель, как предмет с острым краем. Поладин услышал собственный голос со стороны и понял, что больше не может не говорить: молчание стало не защитой, а соучастием.

— Тело его лежало в морге. Теперь его нет в морге. — Он положил на стол протокол осмотра: пустая ниша, расколотая бирка, дата. — Тройка строк в городе — это его почерк. Я слушал его. Я узнаю порядок слов. Кацилян говорит, как он. Студент докладывал, как он. Женщина в спирте… — он остановился. — Женщина в спирте делала своё тело тёплым. Ста-

тья пятая. Тело, покинутое сущностью, возвращают тёплым. Они возвращали. Все трое возвращали — и слушатель был для этого нужен.

Канов не ответил сразу. Он открыл блокнот, нашёл страницу, где имя «Изекириль» стояло в графе «погиб», зачёркнутое дважды, — и аккуратно, линейкой, перенёс имя в соседнюю графу.

Графа называлась «в описи».

— Всё, — сказал Канов. — Теперь он не погибший. Теперь он числится.

Зарин поднялся, подошёл к окну. Снаружи двое в спецовках заканчивали ограду — последний прут, последний проход кистью. Краска ложилась ровно.

— Правило, — сказал Зарин, не оборачиваясь. — Запомните его, оно у нас теперь главное. Если услышим строку — не перебиваем и не уговариваем. Записываем. Номер, слова, время, кто слушал. Если увидим то, что не должно видеть, — записываем. Если будет тепло там, где не должно быть тепла, — записываем время. Мы больше не следствие по серым делам. Мы редакция чужого регламента. И у редакции есть одно преимущество перед автором.

— Какое? — спросил Стуруа.

— Автор пишет для тех, кто читает, — сказал Зарин. — А мы — читаем.

* * *

Канов задержался в кабинете до темноты. Краска снаружи просохла; маляры ушли, забрав валики, и ограда у управы стала ровной, светлой, глухой — ничего не видно сквозь неё с улицы и всё видно изнутри, если отойти на шаг и посмотреть под углом.

Канов смотрел под углом.

Потом открыл блокнот на последней исписанной странице и написал — аккуратно, как вносят данные, не как прощаются:

«Он писал нас все эти годы. Теперь он пишет себя.

Значит, у нас появился шанс: читать вместе с ним».

Он закрыл блокнот и услышал, как за окном, в отцветающих тополях, кто-то — не ветер, кто-то — ведёт счёт: три, пауза, три.

* * *

«Сердце человека обдумывает свой путь, а Господь направляет стопы его»
— Притч. 16:9

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. ДИСПЕТЧЕР

Пятнадцатого числа в городе отключили фонтаны — по графику, до весны. В порту день начинался как все: туман с реки, чай в подогретом стакане, сменная ведомость на гвоздике у доски.

Диспетчерскую корпуса № 2 принял Шарифуллин Рустам Рафисович — четырнадцать лет на линии, ни одного случая, отметка «рекомендован к повышению». В 20:15 он сверился с графиком движения, подписал графу «смена принята» и потянулся к рации.

Свет погас.

Не мигнул — погас. Мониторы, радио, аварийное освещение, телефон: всё встало разом, как встаёт оркестр, у которого подняли дирижёрскую палку. Окна были чёрные — не отражение, не темнота улицы: чернота, у которой есть толщина. Шарифуллин остался в кресле при свете лунного луча, который лежал на столе, как полоса света из проектора.

Он не звал никого. Он сделал то, что делает диспетчер: взял журнал и перо — и вписал в графу «приём смены» строку, которую потом будут снимать с него на комиссии одиннадцать раз:

«Смена принята. Носители связи проверены. Ответственность на мне».

Почерк был его. Он этого письма не помнил.

Всю смену он работал на ощупь — так, как работают руки, которых научили раньше, чем голову: переключатели, тумблеры, рычаги на своих местах, журнал на своём месте. В 02:14 свет вернулся — разом, без переклички, как зажигают города, у которых всё хорошо.

На экране было то, чего не бывает: балкер «Ахтуба-7», шедший к молу в тумане с отключённой навигацией, стоял на песчаной косе. Целый. Крен семь градусов. Двадцать два человека в каютах — все живы. Ни одного сломанного ребра, ни одной разбитой переборки. Судно, у которого вышла из строя вся навигация, не имея права даже приблизиться к берегу, легло на песок, как ложится на полку книга.

Комиссия работала четыре дня. Вывесить это в графу не смогли: не совпадало ни с чем. Судовладелец был застрахован, и страховая компания открыла выплату — аккуратно, по форме, с процентами за просрочку. Убыток оформлялся. Кто оформлял — комиссия не установила: подпись агента на акте принадлежала конторе, которую никто в порту не знал.

Шарифуллин на комиссии повторял свою строку — одиннадцать раз, слово в слово, без запинки и без тени сомнения:

— Смена принята. Носители связи проверены. Ответственность на мне.

— Вы писали это в полной темноте? — спрашивали у него.

— Я писал это при свете, — отвечал он. — Свет был. Потом его сняли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.